

Эпическое и трагическое начала, безусловно, сосуществуют в поэзии Павла Васильева, что по-особенному отразилось в построении его поэтического пространства. Поэтическое пространство Васильева можно сравнить с художественным пространством мощных живописцев, работавших в тот же период, что и поэт, но начинавших творческий путь и сделавших свои открытия в живописи значительно раньше него.

О буйстве сил в поэзии Васильева, о развороте пространства поистине эпического, о движении – бурном, взвирнутом, кажется, писали немало. И не вспоминается ли живописи Филиппа Малявина с её необычайной стихией цвета, когда читаешь такие строки:

В глазах плясал огонь, огонь, огонь –
Сухой и лисий. Поднимался зной,
И мы жевали горькую польню,
Пропахшую костровым дымом, и
Заря блестела, кровенясь на рельсах.

Эпичность Павла Васильева явлена в медленно разворачивающемся пространстве, которое видит орёл или коршун в полёте. Это пространство подчиняется наклонной или сферической перспективе, которую открыл Кузьма Петров-Водкин и о которой писал в своей книге «Пространство Эвклида».

Над степями плывут орлы
От Тобола до Каркарали...

Подобное эпическое видение огромных пространств имеет два субъекта – орёл и поэт, взгляды которых способны охватить этот фантастический околём. В нашем понимании сферической перспективы, анализируя поэзию Павла Васильева, лучше избегать слова «горизонт», как чего-то скучно линейного при взгляде с земли.

Вдруг небо, повернувшись тяжело,
Обрушивалось. <...>

И окровавленным упал закат
В цветном дыму вечернего простора.

(«Всё так же мирен листьев тихий шум») Переключка с «Купанием красного коня» Петрова-Водкина овеществляется через одно только определение «крутые», столь отличного от сегодняшнего затасканного употребления этого слова, обладающего в своем индивидуальном звучании особой образной звукописью:

Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.

(«Сестра») Для раскрытия избранной темы взяты два стихотворения Павла Васильева «Верблюды» (1931) и «Конь» (1932). В первом, безусловно, явлено эпическое начало. Второе может и должно быть представлено как трагедия.

Эпическое неспешность и величие «Верблюды» отражается, прежде всего, в разомкнутости пространства и времени в противоположных направлениях. Это подчёркнуто начальной строфой, где время дано опосредованно: носителем его оказывается сам «корабль пустыни». Он одновременно «...слушает <...> свист осаневающей стужи, / И азиатский, туркестанский зной / Отяжелел в глазах его верблюжьих». Верблюд – странное и своеобразное существо – соединяет времена года и резкости климата в вечном противоречии и противостоянии. Впрочем, это только вступление поэтического персонажа в «реку времён», а вот и движение по оси исторического времени в обратном направлении:

Когда разговор заходит о Станиславе Золотцеве, мне сразу приходят на ум две главные составляющие его характера: профессионализм и смеельность. В сущности, что мы вкладываем в понятие «смельность»? Бесстрашие, неравнодушные, честность перед собой, в первую очередь, а часто и дерзость. Такой человек не может не отзываться (а поэты отзываются стихами, они устроены так по умолчанию) на любую беду и боль своего Отечества, своей Родины, которая порой: «...неверием полна, / живя и в озлобленье, и в бесилье, / и всё переворочено до дна, / и связаны у Птицы-Тройки крылья...», и чем горше становится её день, в ту, теперь уже давнюю пору начала нового века, тем неутомимее и звонче звучат строки Золотцева:

...Однажды с гражданской войны
Мы с вами вернёмся,
И красной Кремлёвской стены
Губами коснёмся.
Гранитная ляжет печать
На кровь и насилье.
И траурно будет молчать
За нами Россия...

И вместо салютов тоада
Мы выстрелым пеллом
В того, кто втянул нас в года
Кровавого пекла,
В горящую пропасть, на дно!
А нас не спросили.
И знали мы только одно:
За нами – Россия...

Невозможно и сейчас представить Станислава Александровича – отстранившимся, глухим к событиям тех далеких лет затянувшегося и изматывающего распада нашей страны и первых её попыток восстановления. Наоборот, сердце Золотцева бьётся в унисон с сердцем земли русской, и предстаёт перед нами поэт-боец, поэт-защитник, поэт-совестник («...И просыпаюсь я в слезах стыда...») всяя Руси:

Горит огнём Останкинская башня!
А я не в горе: меньше будет лжи...
Куда страшной,
что гложнут наши пашины
и ни картошки не родят, ни ржи...

Скажи, сынок,
за что, за что, за что же
те, кто у вас сегодня во властях,
победу нашу превратили в прах?
Скажи, неужто это – навежда?! –
...И просыпаюсь я в слезах стыда...
Читаешь и понимаешь, что и один
в поле все-таки умеет до последнего
оставаться воином. И очень часто голос
Золотцева настолько отчаянно смел,
что пройти, не обмерев перед этой
сдержанной яростью и справедливым
осуждением, игровой (но не заигрыва-

Но приглядишь – в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий...
А затем переход к пространственной оси:
Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?
И, наконец, пересечение двух осей – простран-
ства и времени – в систему координат:
О чём он думает, надбровья сдвинув ту же?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветёт бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.

Особо выделим здесь знаковое временное «мекки», которое содержит в себе и конкретную пространственно-географическую точку – сакральный центр ислама, и указание на сакрально-культурные центры вообще, и определенное временное удаление. «Четыре коршуна над» одновременно указывают направление движения по сторонам света и направление оси времени, уходящей из вечности в вечность: из бесконечности небесной в глубину, в которую вросли «плиты могил».

С величественным пространством соединяется мотив тяжкого и запутанного пути, ибо в этом пространстве прямых путей нет, поэтому он, «древний» и «хмурый», «солончаковой степью осужден» «стлать запутанную нить / И бубенцы пустынные

Светлана Молчанова Поэтическое пространство Павла Васильева

Эпическое и трагическое в знаковых стихах поэта

носить / На осторожных и косматых лапах». Обилие гласных делает ритм стихотворения замедленным, как неторопливое и осторожное вышагивание верблюда.

Основная часть стихотворения дана отдельными эпическими картинами, каждая из которых нарисована всего несколькими сильными мазками. Здесь и «солнцем выжженная мятежная Хива», и «жадность деспотов Хивы», и «бухарские базары», «и кушербный месяц минаретов», и «проказа <...> по воспалённым лбам».

«И щипт владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подняты на шестах
Отрубленные головы неверных!».

Виртуозно построенная строфа (с её подчеркнутой ритмикой второй строки) с точки зрения пластики имеет масштаб и глаз Верещагина в страшных поэтических метонимиях-откровениях. Картины древних и давних жестокостей неожиданно прерываются, и в немногочисленных деталях является точная картина борьбы в Средней Азии новейших времен:

На всём скаку хлестали по горбам
Отстёгнутые ленты пулемёта.

На буграх лохматой головы
Тяжёлые ладони комиссара.

«В цветном песке воинственного бреда» красноармейские роты со знамёнами в чехлах и с краснозвёздной песней батальона, не знающие сна, «шли, падали и снова шли вперёд».

Мотив пути Васильев завершает в финальной строфе, которая начинается с эпического отточия. За этим отточием многочисленные события, о которых он, верблюд – странник и летописец этого восточного мира и пространства, – умалчивает, но свидетелем которых он был:

...Так он, скопие тяжёлые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.
«Дороги» в стихотворении подразумевают не традиционные караванные, а исторические пути, исторические драмы.



«Вынеси нам обутки,
дай нам мяса, винца...

Оскудела сытая
в зобах у нас осень».

Потом поэт переходит внутрь дома, выстраивая не просто интерьер, а домашний космос, где всё живое просит помощи у хозяина. Несколькими деталями дана скудная обстановка и тягостная мизансцена, собранная у огня: дитя «не играет материнской серьгой», прячется лёс под лавку, боясь что выгонят на холод, а «хозяин башку стопудовую / Положил на ладонь – / Кудерь подрагивает, плечи плачут». Живое в доме спасается печью, огнём, который дан в образе своеобразной и живописной «жар-птицы»:

Ходит павлин-павлином
в печке огонь,

Собирает угли кловом горячим.
Выразительна эта антитеза внутреннего согретого пространства, сосредоточенного в доме, и внешнего стылгого пространства, куда выходит хозяин, приняв решение, и где разворачивается трагедия крестьянского коня.

Центр стихотворения – гибель коня от руки хозяина и предшествующей ей пронзительный диалог, который Васильев строит из нескольких хриплых, протяжных, как стон, повторяющихся реплик, с потрясающими по силе отрывистыми ремарками. Реплики хозяин и конь выдаютливают из себя, глядя глаза в глаза:

«Что ж это, голубчики, –
конь пропадает!

Что же это – конь пропадает. Родные!».

Растопырил руки хозяин, сутул.
А у коня глаза тёмные, ледяные.

Жалуется.
Голову повернул.

В самые брови хозяину
теплом дышит,

Тёплым ветром затрагивает волосы:
«Принеси на вилах сена с крыши».

дебным! Весёлым дождём / Бубенцы над пентами в гриве!...».

Видение обрывается, и – хозяину, вышедшему на двор, бросаются в глаза вороны, «неприветливые и непригожие». Читатель возвращается к обстановке, которая нагнетает трагическое напряжение. И авторская строчка, вырвавшаяся у поэта, как из самого сердца мужичьего: «Спелой бы соломки – жисти дорожек!».

Идёт совершенно иной торг, чем у Шекспира: не «полцарства за коня», а жизнь человеческую – за соломку, за жизнь коня!

Продолжение трагического диалога сосредоточено в тесном пространстве «глаза в глаза», диалога в молчании, подготовка к трагическому исходу. Здесь, кажется, почти не нужны комментарии, здесь всё в тексте.

Голосят глаза конь:
«Хозяин, ги-ибель,

Пропадаю, Алексечич!».

А хозяин его
по-цыгански на улку вывел

И по-ворованному
защептал в глаза:

«Ничего... Ничего, обойдется, рыжий. Ишь, каки снега, дорожа-то, а!».

Опускалась у хозяина ниже и ниже
И на морозе седела голова. (Какая точность и какой психологизм!)

«Ничего, обойдется... Сено-то близко...».

.....
А топор нашаривал
в поленьях, чисто

Как середь ночи ищут крест.
И после слов о кресте (на месте ли?) – трагическая развязка, чтобы прервать напряжённый диалог глазами и мысленное последнее целование:

Да по прекрасным глазам
по карим,

С размаху – тем топором...
И когда по целованной
белой звезде ударил,

Встал на колени конь
и не поднимался потом.

Вместо черных вороньих пятен – «Пошли по снегу розы крупные, мятые, / Напитался ими снег докрасна». Но трагедия коня – «мужичьего сердца» ещё не завершена, как не завершена была трагедия России. Смерть одного – это и смерть продолжения, поколения, рода. Об этих нерожденных потомках следующие строки:

И иде-то далеко заржали жеребята,
Обрадовались, заулыбались весна.

Финал – светлый, холодный, ледяной катарсис – светлое небесное пространство, отраженное в глазах хозяина, куда улетел звук бубенца как овеществленное последнее дыхание коня. И в завершающей строке поэт ставит не точку, а многоточие, соединяя крестьянскую трагедию с народным эпосом.

А хозяин с головою белой
Светлеет глазами, светлеет,
И небо над ним тоже светлело,
А бубенец заваял да заледенел...

сах, когда Станислав Александрович стоял, что называется, до последнего, не щадя «живота своего», без остатка растворяясь в жестких политических статьях. Понятно, что после таких «стычек и боёв», воспалённых монологов и переживаний человек всякий раз выходит опустошенным.

...Братья – сербы,
братья – черногорцы,

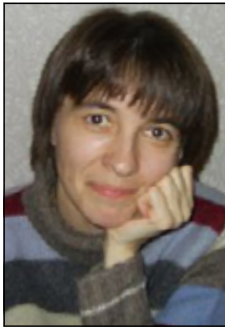
воины, крестьяне, песнетворцы,
вера нам единая дана —
вас и нас еще спасет она!..

Мне очень импонируют люди, переживающие за судьбу русского слова, за отношение к нему, которое, в идеале, должно быть бережным, люди, своим примером подтверждающие неравнодушие и заботу о чистоте родного языка, люди, поддерживающие его высоту.

В своей работе «Смеющееся заднее число» Станислав Золотцев размышляет о литературной жизни начала нынешнего тысячелетия, и вот что он пишет: «А тут... не то что лучший, сам черт голову сломит, плутая в

ликого наследия нам досталось бы одно лишь "заднее число". А не Россия...».

Поймала себя на мысли, что как было бы славно, если бы каждый литератор осознал степень своей личной ответ-



«Сквозь вечность и добро я с вами говорю...» Вита Пшеничная

К 75-летию Станислава Золотцева

«Псковщина», ставшие поистине знаменитыми, настолько чутко, искренне и высоко звучит в ней любящее сердце автора:

Сколько новых слов к себе ни кликаю,
а душа всё прежними жива:
вольный витязь Псков, река Великая,
быстрая, плескающая Пскова...

Каждый раз, когда в судьбе морозило,
зрел её родных имён озон:
древний град Изборск, Чудское озеро,
крепость Порхов и река Шелонь...

Хоть корми меня на чистом золоте —
снова уведёт дорожный дым
к ситцевым полям над синью Сороти,
к трём горам,

единственно Святым...

Псковщина стала для Станислава Золотцева не только своеобразным оберегом, свято хранимым в душе: «Как я люблю этот город заснеженный — / выпеленным из столетий седых...», но и «местом силы», где можно отдышаться, залечить раны, воспрянуть духом. И это не пустые слова, собственно, Станислав Александрович и приезжал в Псков всякий раз, когда чувствовал себя заматованным или уставшим:

...Меня рябина медом угостила,
И, значит, вновь от суеты и вздора
Душе пора в родные Палестины,
В мои Святые Пушкинские Горы.

Уверена, любой знавший его человек отметит взрывной характер поэта, частую бескомпромиссность, особенно в принципиально важных вопро-

...Раздирают в эти дни
на части Русь,
кто — налево, кто — направо,
кто и к черту!

Ни за тех, ни за других я не молюсь,
и за третьих не молюсь.

И за четвёртых...

Не мог Золотцев как человек и как поэт равнодушно смотреть и на то, как быстро происходит обесценивание роли, места и ценности поэта в современном обществе. Собственно, и в сегодняшнем дне пренебрежительное отношение к Слову или к литературному труду стало константой, переломить которую пока за редчайшим исключением не удаётся, потому и голос Золотцева по-прежнему жив, и обживает своей неутомимой очевидностью:

Как страшно видеть, что не нужен
поэт — народу... в час, когда
народ и слаб, и безоружен...

...Поэт — не нужен!
Даже медью ему не платят.
В свой черёд
голодной или пьяной смертью —
с народом вместе — он умрёт...

Да, понятие «поэт» и «народ» практически неразделимы, причем, именно поэтам определено Богом и Природой всем сердцем отзываться не только на острые вызовы современности, но и лечить, собирать, «выравнивать» изломанную человеческую душу. И мне этот срез творчества видится самым трудным, даже подвижническим. Поэтому что такие стихи, «приходящие снова, поистине — как Божий дар», сродни целительным родничкам, к которым тянется не рука, но сердце, в которых слова подобны каплям живой воды и из которых читатель, распознав в себе себя и своё, возвращается в мир светлым, полным сил, благодарности и любви человеком.

дебрях «засвойсчитных» или с помощью меценатов-спонсоров-благодотворителей выпущенных сборников, брошюр и толстых томов, утопая в хлябях безкусицы и безграмотности. И если б речь шла только о книжках дебютантов и дилетантов: там даже «ложить» становится — да не в речи героев, а в авторской — обычным явлением... Однако в последнее время, читая новые вещи, созданные не просто маститыми, но и теми, кого назвать мастером не будет гиперболой, порой ахаетшь...».

И ведь в самом деле, тогда, на изломе веков (даже раньше) ответственная литература буквально захлебнулась в лаве около(псевдо)литературщины в самом дурном её воплощении! И, уверена, охвачен этой бедой был каждой регион страны. «Цензура не цензура, но то, что, по существу, исчез институт опытных и квалифицированных редакторов, да и внимательных рецензентов, — просто бедствие для литературы...» — с горечью пишет Золотцев в начале 2000-х.

На дворе — 2022-й год, львиная доля книг по-прежнему выходит в авторской редакции, с авторскими (далеко не всегда верными) правками; а появление не заказных рецензий — по меркам нашей огромной страны микроскопично. И пока ещё довольно угрожающ процент «раскрасочных», тех, что продолжает «смеяться задним числом», тогда как меньшинство остается, по-Золотцеву, «внутренними эмигрантами» (да можно и не заковычивать, пожалуй), кому не по душе «смех заднего числа». Кто хочет не «поминки устраивать», не хоронить, но порождать хоть что-то, создавать хоть что-то, достойное стать глотком воздуха для душ наших потомков. Что поделять, надо признавать: стремление жить так — всегда вызывало смех. Но не будь его — от предков вместо ве-

ственности перед русским словом, оруженосцем которого он взялся быть совершенно добровольно, потому что если не от каждого, то почти от каждого (...из действующих лиц советской литературы... — С.З.) наверняка останется «...что-то, ставшее живым фактом российской словесности», а не просто «строчкой или стихотворением в ее истории. Хоть один рассказ... хоть одно стихотворение... вдумываясь, разве этого мало? Разве не величайшая это удача — хоть каплей войти в безмерно-космический океан Русского Глагола?».

И я уверена, что ища ответ на этот вопрос, Станислав Александрович, по обыкновению, начинал с себя всякий раз, когда брался писать стихи и прозу, вдохновенно слагая «свою песню, свою голубиную кнзю...».

Читатель, ты только вслушайся в это речитативное моно:

Я кладу за камнем камень,
я ееду за словом слово.

Так мои слагали предки
стены башен и былин.

Обожженные веками,
в холодах процвёв свинцовых,
тяжелы плоды ветки —
свет звенит из сердцевин...

Тогда и разглядит (а, разглядев — поймет) «...потомок, кем были мы, чем жили в эти дни, / какие обжила нас огни, / кто создатель был, а кто — подонок...». Потому что только так и переходит, подобно охранный грамоте, — от поколения к поколению — память родовая и память историческая, продлевая и укрепляя свет самой жизни. Вот оно — подвижничество! Вот она — вечная юдоль любого большого поэта. Юдоль потому, что: «Боже, как трудно быть Мастером на Руси!», потому, что это — выбор и крест, судьба и счастье, зыбка и распытие.

(Полная версия — на сайте)